

Наталья
ВЕСЕЛОВА

Марфин

ДОМ

Наталья Веселова

Марфин дом

«Автор»

1999

Веселова Н. А.

Марфин дом / Н. А. Веселова — «Автор», 1999

Повесть посвящена проблемам становления личности в моменты сильнейших душевных переживаний, потрясений. Присутствие чуда незримо изменяет жизнь, даже если чудо не заметно самому человеку. Жизнь каждого из нас навеки сопряжена с другими, даже теми, о ком мы ничего не знаем...

© Веселова Н. А., 1999

© Автор, 1999

Наталья Веселова

Марфин дом

Часть 1

Олег

Он был так напуган, что не услышал характерного хлопанья и шуршанья за спиной, и только когда его резко рвануло вверх, едва не ломая кости, определил, что парашют все-таки не подвел. Но – странная вещь! – если последние несколько секунд Олегу казалось, что это самое важное и главное, то теперь он вовсе не обрадовался, а вместо этого подумал: «Лучше б не раскрылся... Так бы сразу – шмяк – и все...».

А теперь он падал, верней, не падал, а опускался, в самом беззащитном положении, какое только можно придумать – а именно, беспомощно болтаясь, как марионетка на веревочках, прямо в тыл врага, да еще в непосредственной к нему близости: ведь нашлась же зенитка, подстрелившая его самолет... Самолет, тоже!

Внизу слева ухнуло и вспыхнуло: «У-2» накрылся. Олег продолжал опускаться в полной темноте, в ушах свистело и резало, потому что шлем он потерял еще раньше. Темнота не позволяла видеть ровно ничего, но он и раньше знал, что падает прямо на лес, и почему-то представлял его себе как сплошные копыя, нацеленные на него и готовые проткнуться насквозь. Тут в голову Олега пришла первая практическая мысль, и была она такой: «Интересно, каково это – приземлиться в лес, а не на ровное место? Если и не угодишь сразу в дерево, а пролетишь между ними, то парашют запутается, как пить дать... И будешь висеть, как дурак, на елке, пока немцы с собаками не придут и не снимут... А потом...». Да, немцам определенно есть, что с него взять: ну, положим, где русский аэродром – это они и сами знают, а вот где партизаны... Где партизаны – это знает Олег. И немцы знают, что он знает. Потому что, прежде чем подбить его, они сложили два плюс два: самолет, засеченный ими, – не истребитель, не штурмовик, не бомбардировщик, а этажерка – «У-2». Ее сконструировали аж пятнадцать лет назад, и это совершенно мирный самолет: он использовался до войны для орошения полей и перевозки незначительных грузов. Поля сейчас не актуальны, тем более, ночью, а вот грузы и медикаменты для партизан, например, – это как раз кстати. Тем более на Смоленщине, где эти партизаны заставляют порой немцев бегать ночью в кальсонах и стрелять во тьму наугад... Так подумают фрицы – и будут правы.

«Дурак я, дурак, – сказал про себя Олег. – Приказывали же Мишке... И чего я высовывался... Вот и поменялся с Мишкой судьбой...».

Кстати, надо отметить, что, если бы Олег знал нынешнюю судьбу Мишки (которая, предположительно, была изначально его, Олегавой), то он предпочел бы все-таки какое-то время поболтаться па дереве: как ни крути, а пока жив, останется хоть один шанс из ста. У Мишки этого шанса не оказалось. В те самые минуты, когда его друг совершал свой печальный спуск в неизвестность, он заканчивал свой первый и последний боевой вылет: потеряв ведущего, безнадёжно пропавшего в ночи, он, зажмурив глаза, таранил один из восьми атаковавших «мессеров». В то время для Люфтваффе было еще – одним «мессером» больше, одним меньше, а вот для их полка, в том ночном бою потерявшего вместе с Мишкиным шестнадцать истребителей, это была страшная и невосполнимая потеря...

Ничего этого Олег не знал, но навстречу судьбе пошел, махнув на все рукой, так же, как и друг: зажмурив глаза. Раздался треск, Олег почувствовал, что его продирает сквозь колючие ветки, он закрыл для надежности лицо руками и позвал маму, а потом с ним произошло то, что он успел представить еще в воздухе: парашют зацепился за кроны деревьев, Олег повис на

стропах и начал с шумом раскачиваться, как большой свихнувшийся маятник, ничего по соображая и то ударяясь о стволы, то с гуканьем врезаюсь в упругие ветви. Наконец он инстинктивно хватился за что-то рукой. Качание прекратилось, но Олег тотчас проклял себя за ошибку: хвататься следовало левой, чтобы правой вытащить нож и перерезать стропы. Он извернулся было переменить руку, но вышло еще хуже: руку переменить не удалось, его поволокло, мотнуло незащищенной головой о дерево и, не успели еще погаснуть искры, так и брызнувшие из глаз, как наверху что-то громко хрустнуло, купол сорвался, и Олег, не успев от удара и неожиданности даже сгруппироваться, мешком полетел вниз с неизвестной высоты.

... Сейчас бы сказали, что Егорка Иванов рос вундеркиндом. Но в деревне Вырино такого слова не знали, и поэтому считали его попросту придурковатым. Шутка сказать: мало ли занятый для парня его возраста, а он торчит до петухов на сеновале с книжками – того и гляди, сожжет и сено и себя вместе с ним. Драл его отец, имея благое намерение «выбить барскую дурь», таскала за вихры мать («не сын, а наказанье Господне») – а Егорка все бегал к учителю и возвращался потный и счастливый, таща под мышкой очередную связку книг с мудреными названиями...

В шестнадцать же лет повторил подвиг Ломоносова: ушел с обозом в Петербург. В Петербурге приемная комиссия Политехнического института сначала окаменела при виде патлатого парня в рубахе и лаптях с онучами, а потом на полном серьезе подала прошение на Высочайшее Имя принять его на второй курс. Строго говоря, следовало бы сразу на третий, но неудобно показалось: диво какое-то дивное. Институт Егорка закончил с медалью, увлеченно стал работать в совершенно новой отрасли науки – воздухоплавании, к началу Мировой войны получил приват-доцентуру, которой быстро лишился из-за невестку откуда взявшихся революционных настроений, к октябрю 17-го был уже «совершенный большевик», а к 21-му стал «красным профессором».

Тут Егорка – да какой там Егорка – Георгий Иванович! – женился на комсомолке Наде, носившей не снимая безобразную кожанку, но зато убежденной большевичке из интеллигентов. В 17-м году закончила она знаменитый Павловский институт и... вступила в РСДРП(б). Какие ветры занесли ее туда – того она и сама понять не могла, только вдруг почувствовала, что «Должна не просто жить, как все живут, а сделать людям что-то большое и хорошее... Очень-очень большое и очень-очень хорошее...». В ту пору подвернулся молодой, в локонах и очках, агитатор, представитель особо угнетенной нации в этой «тюрьме народов» – Надя и нашла себя. Агитатором, правда, атавистически побрезговала, а вот симпатичный красный профессор пришелся как раз впору: живя с ним, не требовалось даже особо изменять своим позорным буржуазным привычкам, а неизменная кожанка, конечно, никому не давала права усомниться в Надиной революционности.

Яблоком раздора в семье служила только престарелая Надина бабушка, которую супругам пришлось взять к себе после того, как родители Нади, предварительно прокляв младшую дочь, бежали после революции со старшими, а старуху бросили в Петербурге: и в дороге обуза, и большевики ничего ей не сделают: восемьдесят лет бабуле – не в тюрьму же ее сажать.

Старуха, уже одной ногой в могиле, все никак не желала примириться с новой властью и воевала. Почтенный возраст дал ей много прав, например, выражаться такими словами, про которые в более молодом возрасте она обязана была притворяться, что вовсе их не знает:

– Сволочи твои большевики и ублюдки! – гремела Бабушка в лицо красному профессору, а он озирался на все двери и напряженно прикидывал, слышно ли в других квартирах другим красным профессорам и, еще хуже, их женам. – И сам ты прохвост и лизоблюд! Кто тебя, сукина сына, уму-разуму выучил? Государь выучил! И приват-доцентом сделал! А ты его же убийцам задницы лижешь! Помирать будешь – Господу что скажешь? Скажешь, я-де счастья народу хотел? Да ты в окно выгляни, – и костлявая рука в перстнях трагическим жестом

простиралась к балкону, – выгляни и посмотри, как твой народ в очереди за ржавой селедкой стоит! И как от тифа мрет!

– Мамаша... – шепотом вставлял Георгий Иванович. – Мамаша... Это все дело временное, это все пока... И не большевики в этом виноваты, а контрреволюционеры воду мутят. Я ж вам тысячу раз объяснял, у меня мозоль на языке уже скоро будет... А как мы с контрреволюцией разделаемся – заживем, как царю вашему и не снилось... А про Бога – это вы оставьте. Молитесь на свои деревяшки – и молитесь, вам никто не мешает, у нас государство свободное...

– Не ме-ша-ет?! – вскидывалась Бабушка. – А монастыри кто разграбил, церкви разрушил – кто?!

– Я сто раз вам объяснял, – шипел, сатанея, профессор. – Их никто не грабил, у них изъяли ценности на нужды революции!

Разговоры такие происходили регулярно каждый день и в конце концов вошли в обыденный уклад семьи; прекратись они – и каждая сторона, пожалуй, почувствовала бы себя обделенной.

Скандал же серьезный и, можно сказать, грандиозный, разыгрался лишь спустя пять лет, когда Бабушка, несмотря на строжайший запрет, окрестила четырехлетнего правнучка Олежку.

Родителям, вернувшимся однажды вечером домой, показалось, что у них групповая галлюцинация. Они даже переглянулись, без слов спросив друг друга: «И ты тоже видишь?». В их прихожей стоял и, как ни в чем не бывало, надевал подаваемое домработницей пальто живой священник. Галлюцинация была такой натуральной, что супруги даже распластались по обеим сторонам коридора, чтобы пропустить ее в дверь. Потом, не сговариваясь и столкнувшись в проеме, они бросились в комнату Бабушки, впервые осмелившись войти, не постучав. Они увидели ее посреди комнаты – худую, в черном закрытом платье, с неожиданно высокой прической и камеей на груди. Нечто невыразимо торжественное сияло на Бабушкином лице, и особенно недоступным показалось выражение ее небывало ясных, почти девичьих глаз – и это совершенно не вязалось с их привычным представлением о Бабушке как о сварливом скрюченном полутрупе в вечном кресле-качалке.

Рядом с ней на полу стояла наполненная водой детская Олежкина ванночка, теплилась под образами лампада, заправленная, конечно (как механически, но безошибочно определила про себя Надя), самовольно взятым с кухни постным маслом, а между родителями и Бабушкой козленочком скакал Олежка, радостно показывая папе с мамой новенький медный крестик...

За двадцать лет жизни среди приличных людей красный профессор и выразаться научился прилично. Но в этот страшный для него миг Георгий Иванович таинственным образом утратил свое умение, превратившись в Егорку Иванова, устами которого непостижимо заговорило его родное Вырино:

– Да ты чо, старая курва?! Да ты знаешь, чо я тя щас уделаю?! – и он стал наступать на старуху, неосознанно производя все те же движения и жесты, что и любой парубок-забияка в Вырино.

Бабушка не отступила. Более того, она неизвестно как сделалась еще выше ростом, и голос ее больше не походил на обычное злое кукареканье, а зазвучал глубоко и веско:

– Не испугалась. И никогда не боялась. Ни тебя, ни их. И батюшку пригласила. Он и Олежку окрестил, и меня исповедовал. И как бы вы теперь ребенка ни воспитывали – а благодать Божья и Ангел-хранитель при нем отныне и навсегда. Господу угодно будет – и спасет. А без этого не умереть мне спокойно было. Сделала дело – пора. Живите, как знаете, – и Бабушка, круто отвернувшись, направилась к окну. Там она и простояла в течение четырех часов, пока пришедшие в себя внучка с мужем безответно орали в ее прямую спину.

– В ЧеКа! В ЧеКа! Вот куда вы сейчас отправитесь!! И давно пора расстрелять вас за контрреволюцию – все жалел по-родственному!!! – топал ногами профессор.

– Я вам больше не внучка, а вы мне – не бабушка!!! – переходя на визг, надрывалась Надя.

Но Бабушка все стояла, положив спокойно руки на подоконник, и не похоже было, что она что-то слышит, понимает и уж тем более чего-то боится...

Скандал продолжался в одностороннем порядке с перерывами на короткий сон два дня, а наутро третьего Бабушка тихо умерла в своей постели. Ее нашла домработница – бледную, спокойную, царственную, уже сложившую руки, с загадочной полуулыбкой на бесцветных губах...

Бабушку быстро похоронили и забыли; жизнь пошла гладко, ровно, без запинок и треволнений, наполненная великим смыслом. Надежда уверенно шла по партийной линии, Георгий Иванович самозабвенно отдавал себя делу авиаконструирования и преподавания, подрастал здоровый сын их Олег – и давно позабыт был смешной и незначительный эпизод с детской ванночкой. Способности унаследовав от отца, примерный пионер Олег учился на «отлично», идейный комсомолец и кандидат в члены ВКП(б) Иванов сразу обратил на себя внимание в Политехническом институте и, в июне 41-го досрочно сдал экзамены за предпоследний курс, готовился уже ехать с родителями на отдых в Кисловодск, когда...

* * *

...Летное училище под Ярославлем напоминало, скорей, конвейер. Обучались на летчиков-истребителей, в основном, студенты технических вузов, и уже через три месяца (а когда враг вплотную подошел к Москве и стал серьезно душить Ленинград, то и через два) свежеспеченные младшие лейтенанты с голубыми петлицами браво отбывали в действующую армию.

Каждый – непременно будущий ас; и, хотя не гремели еще имена Покрышкина, Талалихина и Маресьева, все ясноглазые комсомольцы готовились воевать легко и красиво, а потом с тяжелой грацией героя спрыгивать с крыла навстречу десятку дружеских рук, уже готовых качать и качать, и бросать небрежно механику через плечо: «Ты подлатай там, друг...». И отнюдь не представляли себе ни восемь боевых вылетов – то есть восемь смертей – в сутки, ни десяток «фокеров», вдруг атакующих из-за безобидного облака, ни пустоты вместо сердца, когда против этих «фокеров» ты один и только краем глаза – обернуться нет секунды – видишь кувыркающийся факел в ночи – предпоследний сбитый в этом бою русский самолет, в то время как последним станет твой...

Курсантов в основном пичкали теорией, а практические занятия более походили на странную и жутковатую игру. Посредине поля было установлено десятка два ни на один тип самолета не похожих макета. Внутри сажался обучаемый, а инструктор совершал вокруг макета кенгуриные прыжки, выкрикивая: «Два «мессера» справа!! Один идет в лобовую! Против солнца три «фокера»!» Сбитый с толку курсант в панике что-то дергал и куда-то тыкал и, когда ему удавалось дернуть и тыкнуть правильно раз пять кряду, он считался вполне обученным данному комплексу приемов и освобождал место для следующего из понурой очереди, звереющей на солнцепеке.

Для настоящих полетов истребитель имелся один – штопанный-перештопанный, и взлетать на нем было опасно даже с самым опытным инструктором: имелась вполне реальная возможность погибнуть в родном небе на истребителе, но не в героической схватке, а просто из-за того, что самолет решил, наконец, сломаться насовсем не на аэродроме, а прямо в воздухе. Оттого на «настоящий самолет» даже не очень рвались, предпочитая старенькие, но, как ни странно, надежные сельскохозяйственные «этажерки» «У-2». Известно было, правда, что эти неповоротливые и низкоскоростные сооружения начали с успехом использоваться в специальном женском авиаполку в качестве ночных бомбардировщиков, но это, скорей, воспринима-

лось как легенда (легендой и остался на многие годы тот непобедимый женский полк, получивший позже за Сталинград звание Гвардейского).

– Настоящую практику пройдете в боевых условиях, – мрачно шутил один из инструкторов, которого недолюбливали, подозревая в нем вражьи пораженческие настроения.

В тех же настроениях Олег имел некоторые основания подозревать и своего нового друга Мишку и не подозревал лишь потому, что Мишка был его земляк-ленинградец, тоже из профессорских детей и тоже доброволец. Возникал вопрос: если он доброволец, то какой же пораженец – и наоборот. И все же после некоторых разговоров с Мишкой у Олега начинало нехорошо свербеть где-то «в середине», а в голове недвусмысленно, хотя и беспредметно пока, мелькал образ Особого Отдела.

– Что-то не очень нравится мне все это, Олег, – говаривал, бывало, Мишка в свободную минутку нервного сентябрьского дня, и умные, но непроницаемые его глаза становились еще более умными и непроницаемыми. – Ты сам посуди: два раза в месяц – новый набор, два раза в месяц – новый выпуск... Нас здесь, как селедок в бочке, учат – прямо по «Онегину» – «чему-нибудь и как-нибудь». А ведь и мы с тобой через пару недель – того... Станем младшими лейтенантами и летчиками-истребителями. Ты вот мне по совести скажи – ты чувствуешь себя готовым так вот прямо сейчас – взять и «истребить» настоящий «фокер» с пулеметами и здоровым фрицем, пролетевшим всю Европу, а? Если чувствуешь – то ты просто идиот...

– Но это же не повод, чтобы... – беспокойно прервал было Олег.

– Чтобы не попытаться его истребить? Конено, не повод, – спокойно согласился Мишка. – Да и просто повезти может – вдруг он невыспавшись будет. Только... Знаешь, по моим скромным подсчетам, из одного нашего училища с начала войны вышло около полтысячи летчиков... Так ведь училище такое не одно, их по всему тылу – десятки, будь уверен... Скажи, Олег... Куда столько летчиков?

– Куда?! Как куда?! – горячился Олег. – Страна спешно строит самолеты – не могут же они без летчиков!

– Это все так, конечно... – задумчиво тянул приятель, – Но... Сейчас-то у нас и одной десятой самолетов нет по отношению к количеству летчиков. Не-ет, друг... Тут другое что-то... Самолеты построят, конечно, но не для того же нас тут в такой спешке готовят, чтобы девять из десяти сидели потом на аэродромах и ждали, пока каждому пригонят по новому «ястребку»... Будь уверен: как приедем в полк – и в тот же день в бой, значит...

– Значит... – повторил Олег и сразу понял, что продолжать этот разговор не хочет, и именно потому, что лучше не знать, что это значит.

– А значит, – безжалостно закончил Мишка, – а значит, здесь просто готовят камикадзе – вот что это значит. Это значит, что там, – он ткнул большим пальцем вверх, – прекрасно знают, что для большинства из нас дело ограничится одним боем. Потому нас и надо так много, Олег. И потом, ты заметил, что нас учат чему угодно, но посадку показывали только раз? Да это же просто потому, что нам почти наверняка не придется садиться...

Надо было, конечно, что-то срочно ответить, опровергнуть, пристыдить. Сказать, что товарищ Сталин никогда не допустил бы такой бессмысленной бойни, что «там», конечно, лучше знают, сколько нужно самолетов и летчиков, и что нельзя так говорить, потому что это не по-комсомольски и вообще не по-человечески – подозревать в других такой ужас – но ни слова не смог вымолвить Олег, потому что внутри у него все задрожало – и вовсе не от возмущения: он просто понял, что так же задрожат и губы, надумай он что-нибудь ими произнести...

И вот, спустя две недели, уже младшими лейтенантами, уже на аэродроме авиаполка, к которому их приписали, Мишка с Олегом невзначай поменялись судьбами...

Они вдвоем пробежали по лужайке к столовой, когда до их ушей донеслась специфическая авиационная брань, соотносить которую с известными им понятиями они еще не научи-

лись. Невольно задержавшись и повернув головы, они увидели коренастого старлея, который что-то доказывал носатому капитану:

– Да не могу я его заставить, товарищ капитан, что я – совсем зверь, что ли?! Да и как он за штурвал-то сядет в таком состоянии!!

– Да не мое дело!! – грохотал капитан. – Приказано доставить, так доставьте! – и тут взгляд его упал на двух зазевавшихся младших лейтенантов. – Вон, хоть одного из этих желторотых посади – чай, не истребитель, ведущий не требуется!

– Так они же... – начал старлей, но капитан так гаркнул «Выполнять!!!», что он осекся, махнул рукой и трусцой подбежал к Мишке с Олегом.

Старлею перевалило за пятьдесят – он явно выслужился из рядовых. Олег запомнил доброе бабье лицо, блеклые хлопающие глаза, братски-неуставной голос:

– Вот что, сынки, новенькие, что ль? Ага, то-то еще не видел... Истребители? Ну, а я – Плотников, механик старший... Тут вот какое дело, ребята... У нас тут машина пришла, медикаменты в ящиках для смоленских партизан привезла. Они радировали куда надо, что раненные у них там... Так вот, у нас, как что им надо – так Петька Новоселов на «этажерке» возит. Он у нас инвалид, в финскую еще простреленный – куда ему на истребитель. А сейчас несчастье с ним, вишь, приключилось – может, съел чего... Ну, вы понимаете... Словом, он вторые сутки с очка не слезает, зеленый, что твой огурец, а команда – в ночь, до зарезу: партизаны ждут, костры жгут... Надо сразу, чтоб за ночь обернуться, так что командир велел одного из вас отправить – лады, а? Делать там нечего, щас покажу вам на карте квадрат, три костра там увидите – и мечите ящики. У них парашюты сами раскроются – так придумано – и айда домой. Опасности никакой: Петька, вон, раз двадцать мотался – безо всяких неприятностей. Но парашютик, на случай, имеется один: дернешь тут вот – и откроется... Ну, так чего – летишь, чернявый? – и он вопросительно глянул на Мишку – может, оттого, что тот был внешностью поярче и к себе сразу привлекал внимание.

– Да не знаю, товарищ старший лейтенант... Я же истребитель, а тут – «У-2»... Но если надо... Что ж, я конечно... Это... Слушаюсь.

– Я зато знаю, какой ты истребитель, – дружески ответил ему старлей. – И на чем тебя учили – тоже. Небось, наистребяешься, еще надоест – если самого не истребят, конечно...

И дело было, казалось, совсем уж слажено по-домашнему, и вопросов никаких, а только вдруг Олег зачем-то щелкнул новенькими каблуками и выпалил:

– Разрешите мне, товарищ старший лейтенант! – выпалил – и чуть не поперхнулся, потому что вдруг сообразил, что за секунду перед тем ничего подобного ни делать, ни говорить не собирался.

Более того, он испытал ощущение, что губы его открылись совершенно помимо его желания, и слова будто произнес кто-то другой. Он так и остался навтыяжку, пытаюсь разобраться в своих небывалых дотоле чувствах, но добрый Плотников ничего не заметил и отечески похлопал Олега по плечу.

– А-а, сам хочешь? Добро, а то дружок твой не очень-то рвется... Ну, пойдём, что ль, карту посмотреть...

«И что меня вдруг дернуло?» – подумал все еще озадаченный Олег, но за старлеем автоматически пошел.

Пошел, потому и очнулся сейчас в странном положении, которое ему пришлось осмысливать несколько минут. Наконец, он понял, что происходит, и эта минута была страшна: кто-то несет его через ночной лес на спине, крепко ухватив за руки, а ноги волочатся по земле.

«Немец! – трепыхнулось в Олеге. – Взяли все-таки, гады...». Он не шелохнулся, опасаясь, как бы враг не догадался, что он пришел в себя и вполне готов к допросу на месте. Но, быстро поразмыслив, пришел к выводу, что на немца не похоже: вокруг не слышалось больше ничьих шагов, следовательно, тащивший его человек был один. Один немец в смоленском лесу

исключался, а значит, решил Олег, его спас и волок теперь на себе свой, русский мужик. Партизан? Вот бы здорово! Быстро прокрутив все это в голове, Олег решил подать признаки жизни: он потряс головой, уткнулся в чужую шею и прогудел:

– Слышь, друг...

Человек остановился, чуть встряхнул Олега на спине, словно устраивая поудобнее вязанку дров, и ответил – ответил веселым и звонким женским голосом:

– Я тебе не друг, а подруга.

– Ой, мама... – только и смог сказать Олег.

– Мама, да не твоя, – продолжал звонкий голос. – Своих, чай, пятеро – куда мне еще шестого, бугая этакого.

Сказав это, женщина остановилась и невозмутимо свалила Олега с плеч наземь, вновь вызвав в нем обидную ассоциацию с вязанкой дров. Он больно ударился о корень и невольно вскрикнул:

– Да полегче ты!

В чуть разбавленной уже серым темноте он уловил над собой огромный, как ему показалось, силуэт женщины-богатыря.

– Ишь, заговорил, – прозвучало сверху. – А я-то думала, по дороге помрешь...

– Стукнуло меня... – нерешительно пояснил Олег.

– Видела, – кивнул головой силуэт. – Видела, что никто тебя не стучал, а сам ты, как куль с мякиной, с сосны свалился. И ты меня очень-то не жалоби, потому как я тебя там еще ощупала: кости твои все целые. Так что посиделки эти ты кончай и подымайся, дальше сам пойдешь.

– Да не могу! – жалобно сказал Олег. – Все тело болит!

Женщина усмехнулась:

– Да? А куда ж ты денешься? Сидеть тут будешь и фрицев ждать?

Она вдруг резко нагнулась, довольно бесцеремонно ухватила его правой рукой за шиворот и легко, совсем без напряжения, поставила на ноги.

– Ой, больно! – почти что взвизгнул Олег, ощутив вдруг ломящую боль в обеих стопах. – Ноги отбил!

Но, к радости своей, он уловил в женщине, которая и теперь была на голову выше его, некое колебание. Она смягчилась:

– Отбил, говоришь?.. Ну, может и так. Нести-то я тебя все равно больше не понесу, а обхвати-ка меня за шею. И пошевеливайся, а то сюда-то немцы еще дойти могут.

Олег так обрадовался, что даже начал заикаться:

– А т-туда... к-куда мы идем... Туда дойти – не могут?

Она пожала плечами:

– Сами – нет. Да если б и могли – ни за что б не сунулись. Им здесь под каждым кустом партизан чудится.

– А если – не сами?

Они уже снова тащились по лесу, Олег ковылял, всей тяжестью навалившись на женщину, она молчала, и он подумал, что не получит ответа, когда до него донеслось:

– Ну, навряд ли такая сволочь найдется... Кстати, Марфой меня зовут...

Вот тут Марфа ошиблась – сволочь уже нашлась. Но женщина-богатырь об этом не подозревала и не думала, потому что, по широте сердца своего, совсем позабыла про один давнишний эпизод.

Случилось это пять лет назад, когда пришла лесничиха из своего леса в деревню за солью, спичками и керосином. К тому времени все уж знали, что печально складывается ее жизнь с лесником-пьяницей, да и мать Марфина сокрушалась по всем подружкам, что отказала ее дочь трактористу Кольке, первому в колхозе красавцу и балагуру, а пошла за угрюмого цыганистого лесника Ивана. Не послушалась-де матери – вот теперь и мается. И надо ж было так случиться, что нагнал ее тот самый Колька у околицы – да и начал попрекать едко, таких гадостей наговорив, что не сдержалась Марфа, развернулась – да и врезала хаму по оптике. Так шарахнула, что и сама испугалась: кулем повалился Колька, кровью облившись. Она было к нему бросилась, но он уж прокинулся, кровь сплюнул и процедил с нечеловеческой какой-то злобой:

– Ничего, Марфа, ничего... Мне с тобой, само собой, не драться: враз положишь... Только час мой еще придет, Марфуша... Тогда-то кровушка моя тебе и отольется...

За все пять лет ни разу и не подумала серьезно о той угрозе Марфа, да еще не раз, побитого вспоминая, жалела, и представить себе не могла, что как раз сейчас, когда она волочет к себе в дом непутевого летчика, Колька, не взятый в армию по здоровью, ведет к ней через лес два взвода фрицев с автоматами и серыми обученными овчарками...

...По дороге Олег получил еще одно подтверждение своей чрезвычайной везучести. По словам Марфы выходило, что тот Петька Новоселов, которого заклинито на очке, и вместо кого он, Олег, плелся теперь на отбитых ногах, повиснув на шее у незнакомой женщины по страшному лесу, «летал раз двадцать без неприятностей» лишь потому, что в этой деревне у немцев не было зенитной установки. Самолетик же, регулярно пролетававший над кишашим партизанами лесом туда и обратно, давно намозолил немцам глаза, и, в конце концов, стал так их раздражать, что зенитка была у начальства выпрошена и доставлена как раз на днях – видать, специально для него, Олега. Имелся простой расчет: самолет подбить, спрыгнувшего летчика подобрать, допросить и повесить, после чего накрыть «партизанское гнездо» внезапно. Предполагалось, что летчик упадет близко к опушке леса, где собаки его вынюхают без труда. Марфа же немцев опередила, и они, несомненно, бросились бы сразу искать на всякий случай ее избушку – не бойся они так углубляться в лес или знай точно, где эта избушка... А кто им покажет?

Когда они доковыляли, наконец, до скособоченного бревенчатого домика на лужайке, Олег уже успел смириться с мыслью, что мечту стать великим авиатором вроде Чкалова придется сменить на другую, не менее героическую – с честью партизанить в смоленских лесах.

– А может, мне – того... Через линию фронта? К своим добраться, в полк? Воевать летчиком, как положено, а? – спросил он совета у Марфы. – Или это невозможно совсем?

– Все возможно в этом мире, – неожиданно философски ответила она. – Это я про линию фронта. Перейти-то – перейдешь, а там – до первой стенки.

– Ты чего мелешь? – возмутился Олег. – До какой стенки? Я в форме, и документы при мне. Всё проверят, конечно, но я же ни в чем не виноват. Разберутся – на то они и Особый Отдел.

Они стояли у низенькой двери, Марфа спокойно сняла его руку со своей шеи. Светало вовсю, поэтому Олег ясно мог различить, как, глядя ему в глаза, она чуть помотала головой и прищелкнула языком, словно говоря: «Ну, ты даешь, парень!».

– А что такого? – удивился Олег на эту предполагаемую фразу.

Марфа тяжело вздохнула с таким видом, с каким говорят «О, Господи!» и просто ответила:

– А то. А то, что ты представь, дурачина, себя на месте любого вашего особиста. К нему вдруг является офицер с оккупированной территории. С документами, живой, здоровый. И докладывает: меня-де над Смоленщиной подбили, но в плен не взяли, меня

тетка Марфа спасла и к линии фронта вывела. И возвращайте-ка меня в мой родной авиаполк. Так тебе, дураку, и поверили. Потому что быть сбитым и не попасть в плен – это большим везунчиком надо быть. И ты бы попал, не окажись я поблизости. Я-то была уверена, про зенитку ту узнав, что тебя на обратном пути подстрелят. Но доказать, что ты в плен не попадал, ты не сможешь: слишком уж обратным пахнет. Ну и – сам понимаешь – по закону военного времени... – не договорив, Марфа отворила взвизгнувшую дверь и шагнула внутрь. Не вполне убежденный, но уже колеблющийся Олег подался следом.

В нос ему ударил кислый запах крестьянской избы – и не сказать, что это было очень приятно поначалу. Из темноты донеслось:

– А ты и вправду везунчик, Олег. Молитвенник, видать, сильный у тебя где-то. Кто молится-то, мать, небось?

Часть этих слов Олег просто не понял. По его мнению, молитвенник – это была такая книжка, с которой (это он прочел в одном французском романе) ходили где-то во Франции в церковь, причем, очень давно. («Маман потеряла по дороге из церкви свой молитвенник, она думает, что его у нее украли».) В молитвеннике должны быть, конечно, молитвы, но как он может быть сильным? А уж словосочетание «молится-то мать» и вовсе вызвало в нем внутренний смех: не могло быть ничего смешней, чем мгновенное видение его мамы в черном платочке и со свечкой в руке. И вообще, таких слов он никогда ни от кого не слышал и меньше всего мог предполагать их услышать от женщины, которая только что самоотверженно волокла его на себе несколько километров – сначала на спине, а потом на шее. То есть, помогала советскому летчику. Но еще с младших классов школы Олег твердо усвоил, что люди, верящие во всякую «поповщину» – это люди ненадежные. Это, можно сказать, не наши люди. И люди эти не могут любить советскую власть, объявившую беспощадную войну всяческому мракобесию. А, следовательно – эти люди враги, и помогать должны уж никак не советским командирам, а врагам, желающим скорого конца советской власти, то есть, в настоящее время – немцам. И ни в коем случае комсомольцу ничего хорошего от таких людей ждать не приходится. Но факт был налицо: Марфа его спасла. Поэтому, логически рассудил Олег, она никак не может оказаться верующей: может, так сболтнула, а может, что другое в виду имела, а он недопонял. Рассудив так, Олег успокоился и промышчал нечто вроде «М-да-м-н» меж тем, как Марфа копошилась, зажигая лучину.

Но, когда слабый огонек, покапризначав, начал все-таки давать какое-то смутное освещение, первым, что он осветил, оказалась большая серебряная икона, изображавшая Деву с Младенцем. Рядом на полке Олег увидел такую же, только на ней было одно лицо. Здесь же помещалось еще несколько маленьких, темных – их Олег уже не разглядывал, он, разинув рот, обернулся на Марфу. И увидел нечто еще более необыкновенное: глядя на иконы, та перекрестилась несколько раз. Он успел еще заметить, что женщина молодая, и это повергло его в совсем уж полное недоумение: он считал, что такой-то крендель может еще выписать лишь сморщенная старушка – понятно, у них мозги уже известкой покрылись, агитируй-не агитируй – ничего не понимают, уперлись, как бараны. Был уверен до сей минуты Олег, что последний остаток религии умрет вместе с последней старушенцией, а вот, выходила совершенно невозможная вещь: при нем, ничуть не скрываясь, крестилась женщина лет тридцати.

«А, – вдруг догадался Олег. – Это ж я по городу сужу, а она-то – деревенская. Не успели их доагитировать, не разъяснили толком. А то она давно бы эту чушь оставила». Подумав об этом, Олег вторично успокоился, решив мимоходом, как отдохнет (сейчас-то сил нет) растолковать ей кое-что по-комсомольски, научные доказательства привести, если на то пошло...

Тем временем в избе что-то заворочалось, и Марфа, быстро повернувшись к болевшей в темноте русской печи, стала шарить там руками и бормотать. Выпрямилась и шепотом пояснила Олегу:

– Ишь, заснул опять. Он у меня самый шебутной, Васька-то.

– И много их у тебя там? – полюбопытствовал Олег, решив с места в карьер с пережитками прошлого не бороться, а войти сначала в доверие.

– Пятеро. Старшей – восемь, младшему – два. Ваське – тому четыре. Ничего, помещаются пока!

– А муж?

– А что муж? Где все мужья, там и мой. Да ты садись, гость, чай! – Марфа толкнула Олега на невидимую лавку и сама со вздохом «Ох, утомилась нынче!» опустилась рядом.

Лучина разгорелась вовсю, и теперь Олег впервые получил возможность разглядеть спую спасительницу. Широким жестом она скинула долой уродовавший ее темный толстый платок; повела плечами – и упал с них засаленный ватник. Перед Олегом оказалась красивая мощная женщина лет около тридцати, с крупными чертами типично русского лица, и можно было даже сказать, что она красавица, если б не довольно безобразный шрам, спускавшийся из-под волос до уха, загибаясь серпом на щеку. Было ясно что никакие хирургические инструменты не касались раны, и она зажила сама собой, грубо стянув кожу.

– Лошадь лягнула, – спокойно объяснила Марфа, перехватив смущенный взгляд Олега. – Давно, уж года три тому...

Олег вспомнил, что за своими страхами и удивлениями так ни разу и не поблагодарил Марфу. Ему стало неудобно – еще подумает, что он невежа какой. Благодарить вообще всегда очень трудно, особенно если это не тривиальное «спасибо» за билет в трамвае, а ты действительно по гроб жизни обязан человеку. Олег сбивчиво пробормотал:

– Я вот что, Марфа... Я тебе очень благодарен за все это... Если б не ты – попался бы фрицам, и конченное мое дело... Так что спасибо тебе... Тем более спасибо, что через убеждения свои переступила, – вышло еще хуже, чем он предполагал, а уж последнюю фразу – Олег сразу это почувствовал – добавлять и вовсе не следовало: она получилась совсем уж дурацкой.

И верно, Марфа насторожилась:

– Убеждения? Через какие такие убеждения?

Олег одновременно и смутился еще больше и вдохновился. Смутился тем, что нужно было выкручиваться, а вдохновился, потому что показалось ему, будто пришел удобный случай поговорить о том, что явно здесь мешало: о поповщине этой глупой.

Он, как сумел, придал голосу твердость, мимоходом подумав, что, может, враз со всем этим и покончит. Ему еще пришлось в голову, что она не то чтобы верующая, а просто по привычке исполняет все, чему в детстве научили. Может, и нет у нее никаких убеждений, а вот сейчас он разъяснит ей по-товарищески, что время глупостей прошло – она и перестанет. Кроме того, он человек культурный, грамотный, одних политинформаций сколько провел, а она что знает?

– Ну, Марфа, насчет убеждений – это я погорячился. Не может у тебя быть никаких вражеских убеждений, иначе ты бы меня не к детям своим в дом привела, а напрямиком к немцам...

Марфа взглянула на Олега изумленно:

– Конечно, нет у меня никаких вражеских убеждений. Как ты и подумать такое мог? Да и вообще, о чем ты говоришь так странно – не понять мне.

Олег залился краской и решил уже плюнуть на всю свою агитацию – лишь бы вывернуться из глупейшего положения: вот ведь, обидел ни за что советского человека, спасшего ему жизнь, вдобавок, в сочувствии к врагу в глаза заподозрил – выходит, он уж совсем неблагоприятной скотиной ей сейчас кажется!

– Ты не так поняла, – уставясь в пол, забубнил он. – Пока по лесу тащились – я ничего такого не думал... Я и сейчас не думаю... Только вот странным мне показалось... Эти иконы у тебя... Бабкины, что ли? Тогда чего ты крестишься-то на них – сама-то ты не бабка. Понимать должна. В школе советской училась, наверное, – объясняли же тебе...

– В школе? Нет. Я не училась в школе, когда Советы пришли. Мне восемь лет тогда уж было, а грамоте и счету меня и других ребятишек учитель местный еще раньше выучил...

– Но агитаторы-то потом были у вас?! – вскричал Олег. – Нельзя же, чтоб дремучесть такая!

Марфа тихо усмехнулась:

– Были, были и агитаторы. Их поначалу только слушали – а как церковь спалили, а батюшку с попадьей и поповнами собаками до смерти заравили – так все враз и поняли, что почем... Да я-то что? Я тут в лесу уж десять лет без малого. Нешто вера моя мешает кому?

«Собаками попа травить, конечно, не надо было, – быстро подумал Олег. – Да еще с семьей, да у всех на виду. Неграмотно сработали ребята – только озлобили против себя население. Увезли бы их, да шлепнули где-нибудь по-тихому, а местным бы сказали: сбежал, дескать, поп. Конечно, поагитируй потом, когда такое зверство...».

Он ответил:

– Хм... Это неправильные какие-то были агитаторы... Ну, а что касается того, что вера твоя не мешает никому в лесу – так это точно. Только дети у тебя растут – ты подумай, как они жить будут, когда из леса выйдут! Такой-то дурью напичканные!

– Чтоб им из лесу выйти и жить дальше – сначала немца прогнать надо, а там видно будет, – невозмутимо напомнила Марфа. – Да, а ты про убеждения мои какие-то толковал – никак не пойму, вера-то тут причем?

Олег и сам чувствовал, что разговор этот глупый, завел он его напрасно, зато оба они устали, да еще, того и гляди, дети проснутся и отдохнуть не дадут. Пыл его как-то поулег – что ему, в конце концов, за дело до этой темной бабы: все само как-нибудь устроится. Права она. Лишь бы война поскорей кончалась, а там просвещение и до нее доберется. Но, чтоб совсем уж дураком не показаться, да еще, чтоб она не подумала, что сказать ему нечего, а идейность его – дутая, проговорил с неохотой:

– Да чего там... Ладно. Но странные у тебя убеждения: в Бога, вроде, веришь, а советским помогаешь. Ваши же все наоборот: немец для них – первый освободитель. Но ты, видно, не такая. Значит, не потерянный человек для общества.

Думал Олег, что тем разговор их и окончится. Но Марфа вдруг резко от него отшатнулась, а потом медленно встала, загородив собой свет. Громадная тень ее угрожающе нависла над Олегом...

«Мать честная, прибьет, никак, сейчас!» – испугался он не на шутку и чуть было не закрылся локтем, но в последний момент передумал: несолидно. Он – боевой командир, она – всего лишь глупая баба.

– Да ты что... – дрожащим голосом, словно задыхаясь, произнесла Марфа, и даже в груди у нее что-то возмущенно клокотнуло: – Да ты что порешь-то! Креста на тебе нет! Где ты видел русского человека верующего – чтоб немцам радовался?! Да под гадом таким земля бы тотчас треснула – не снесла бы! Ты сам думай, что говоришь – не газеты одни читай... Я-то к тебе, как к человеку... А ты – агитацию в доме у меня разводиться... До чего договорился! Убеждения чужие просчитывает! Странно ему, что помогла, немцам не бросила! А сам ты, случись тебе беспомощного кого увидеть, перед тем, как помочь ему, раздумывать бы стал – наш человек, или, может, мысли у него не такие?!

– Ну конечно, стал бы, – не размышляя, ответил Олег. – Потому что, если враг – так врага уничтожить, а не помогать ему надо.

– Да когда он на земле под деревом валяется, как ты давеча – то какие тут раздумья! – вскричала Марфа, и на печи кто-то сонно заворочался; она сразу понизила голос и вновь села рядом с Олегом.

Тот несказанно этому обрадовался, сообразив, что на этот раз бить не будут.

– Ты то пойми, – шепотом продолжала Марфа, – что если человека убить, то все надежды на этом кончаются. А если жив будет, то враг там, или не враг – а, может, войдет еще в разум... Не о немцах я это, не пугайся. Это я про нас, русских, говорю. Смотри – прут фрицы, не спрашивают «убеждений» наших – тех и других стреляют и вешают. А мы вдобавок между собой разбираемся – не враги ли еще и друг другу! Вот и ты. Прости уж, парень, что напоминаю – но старше я; так вот – попался б немцам, про партизан бы все сразу выложил – и болтался бы сейчас на виселице... Она там давно стоит, и всегда на ней висит кто-нибудь...

Озноб продрал Олега при этих словах – «про партизан бы все сразу выложил». «Врет, стерва!» – подумал было он, но тут остро вспомнил, как скулил в лесу, говоря, что «все тело болит»; как потом на отбитых пятках, на шее у Марфы повиснув, плелся и все охал; как раньше еще, когда только захлопала зенитка, и он увидел, что попали, руки его так тряслись, что он еле парашют напялил; и, вспомнив все это, ужаснулся и понял: выложил бы. Еще б до того выложил, как избили – из одного страха, что сейчас начнут... Потому что на самом деле товарища Сталина, Коммунистической партии, великих идеалов – всего этого совершенно недостаточно, чтобы устоять. Это все как-то мельчает и бледнеет перед возможными мучениями его ненадежного тела и еще более – перед тем абсолютным «ничто», которое наступит после того, как тело отмучается... И посмертный позор, как и посмертная слава, не остановили бы его – что ему будет до того в том «ничто»... И как только до Олега все это дошло с хрустальной ясностью, слепая ярость, направленная на Марфу, мутной волной вскипела в нем – за то, что она его раскусила, да еще и посмела об этом сказать.

– Да ты спятила, гадина!!! – заорал он, нисколько не заботясь о спящих детях. – Как это я выложу?! Да режь они меня на куски – ничего не скажу!!! Это ты бы все выложила, провокаторша! По себе других не меряй! У меня идеи есть, товарищ Сталин, партия есть! А у тебя что, кроме деревяшек?! Это тебе не за что погибать, а обо мне не беспокойся! И язык свой поганый прикуси! Нет здесь НКВД, я во власти твоей – вот и пользуешься... Ничего, я тебе покажу, кто тут Советская власть! – войдя в раж, Олег начал лапать кобуру.

Дети на печи проснулись и захныкали, но он уже неспособен был остановиться. Марфа не обратила на это никакого внимания, а сказала преспокойно:

– Да не ищи ты свой пистолет – у меня он давно. К партизанам придем – отдам. Правильно я сделала, что забрала: дите ты совсем – ну куда тебе такие игрушки...

Возмущение Олега перехлестнуло через край – он только воздух ртом хватал.

– А меня ты все-таки дослушай, – невозмутимо продолжала Марфа. – Вот ты – выложил бы и висел – да, и не пялься на меня, знаешь, что права, оттого и орешь так. И всё. Что дальше с тобой было бы – и подумать страшно, а так... А так, может, одумаешься еще, жизнь-то не кончена. И поймешь, что если Бога у человека нет, то ничто не помешает ему предателем стать – ни Ленин, ни Сталин, ни партия... А вот в Бога уверуешь – тогда...

– Кто... уверует? Я... уверую?! – обалдел Олег. – Ненормальная ты дура, вот кто ты! Чтобы я...

– Мамка, а, мамка... Собаки в лесу лают... – вдруг раздался с печки сиплый со сна детский голосишко.

Секунду после этого в избе было тихо. Но неизвестным образом секунда эта растянулась в сознании Олега на долгие часы ужаса. Запал его вмиг угас, он механически огляделся. Сквозь крошечное окошко пробивался несмелый утренний свет, и все предметы, очертания которых появились в нем, стали открыто враждебными и ужасными в своей неподвижности. Белый силуэт печи, хромой грубый стол, лавки, веревки с бельем, какая-то утварь – все это обрело в глазах Олега жуткое угрожающее движение, как в кошмарном сне, получило невыносимую и страшную значимость, и на Олега навалилось тягостное ощущение, что разгадай он прямо сейчас, что же это такое – и все сразу станет на привычное место, расколдуется – ах, если б не этот страх! И еще многое мелькнуло – что все напрасно: и парашют, и Марфа, и отбитые

ноги, и сам этот дом, и никакого партизанства, оказывается, не будет, а будет как раз то, что сказала Марфа: выложит и повиснет, а она... И ее он успел разглядеть и оценить в эту секунду. И убедиться, что хотя и нет у ее сердца комсомольского билета, а есть только пятеро детей, но все равно она не скажет немцам, где партизаны... А он скажет... Секунда прошла.

– Показалось Таньке со сна, – прошептала Марфа, и тут они оба услышали.

Лай звучал еще издали – в утреннем лесу на километры разносятся звуки, но было ясно, что это действительно овчарки, и не одна, а полтора десятка, и идут они сюда. В панике Олег схватил Марфу за руку.

– Бежим!!! – ничего не соображая, выпалил он.

Марфа выдернула руку, глаза ее расширились, голос стал неузнаваем:

– Поздно. Не уйдем.

– Что?!! – взревел Олег, но тут вспомнил: – Ах, да, дети... – его колотило, как в приступе горячки, он никак не мог собраться с мыслями. – Да... да... дети... дети...

– Ни с дитяи, ни без них не уйдем: там собаки, от дома враз вынюхают, – тем же страшным голосом отозвалась Марфа.

Несмотря на всю свою былую враждебность к ней, Олег уже привык видеть в Марфе несокрушимую опору, и вдруг опора эта вылетела у него из под ног, ибо Марфа с изменившимся лицом, опустив руки, стояла посреди избы. Дети на печи примолкли, и Олег почувствовал себя вопиюще одиноким и беспомощным. Но произошла странная вещь: как только он понял, что в один миг лишился защиты, так в нем откуда-то взялись силы. Он глубоко вздохнул и зажмурил глаза.

– Не терять головы... Главное – не терять головы... – прошептал он для бодрости и шагнул к Марфе. – Говори быстро, где тут твои партизаны. Или нет, лучше не говори – хватай детей: младших понесем, старшие сами пойдут... Да скорей ты!

У Марфы ожили только глаза – словно она что-то прикидывала. Прошла еще одна бесконечная секунда. Лай слышался ближе. Марфа заговорила, и слова ее звучали, как отрывистые команды:

– За болотом, восемь километров. С детьми не успеем, у болота догонят. И еще – будут знать, где партизаны. Всем нельзя – беги один. Завернешь за избу – иди все прямо. Увидишь болото – ищи глазами три валуна напротив. Сам стань у двойной березы, от нее цель на крайний камень справа. Пройдешь – там тропа. На том берегу опять все прямо – их дозор сам тебя отыщет. Все понял? Повторять некогда, иди сразу. Прощай. С Богом.

Даже в эти неправдоподобные минуты слова «с Богом» покоробили Олега, но размышлять над ними не было времени. Окрыленный, он метнулся было к двери, но вдруг застыл, ясно услышав громко сказанное кем-то слово «стой». Думая, что это Марфа, он обернулся, и взгляд его упал как раз на икону, блеснувшую из темноты. Нелепая мысль возникла у Олега – ему почудилось, будто голос шел от нее: Марфа оказалась совсем в другом месте. Эта мысль только мелькнула, зато на ее место пришла другая, совсем простая: «А Марфа?» – и Олег сам удивился, как он раньше этого не подумал.

– А ты? – вслух сказал он. – А дети? – и увидел, что Марфа плачет.

– Как Бог даст, – сдавленно ответила она, и все возмутилось в Олеге.

Он понял, что чуть не произошло – и волосы у него встали дыбом.

Мало того, что эта женщина спасла его. Она сейчас, только что, пожертвовала собой и своими пятерыми ребятишками ради него, который хамил ей всю ночь напролет и только что, вовсе не думая о судьбе ее и детей, как травимое животное, бросился бежать, кинув ее на произвол судьбы. Немцы сразу раскусят, что он был здесь: обученные собаки помчатся по следу вдогонку. И она с детьми примет страшную смерть за то, чтобы он мог дойти до партизан и жить дальше. Жить? Зная это – жить дальше?

– Марфа, я не пойду без вас, – быстро сказал Олег, и ему показалось, что подобное уже было... Да, точно, там, на аэродроме, когда так же неожиданно он выкрикнул: «Разрешите мне, товарищ старший лейтенант!».

Олег думал, что Марфа начнет его уговаривать, но она живо подошла к нему, глянула остро:

– Вот и ладно. Иначе жизнь свою... Проклял бы ты ее тогда...

Лай доносился уже с довольно близкого расстояния.

– Собаки, мамка, собаки, – пискнул кто-то с печи.

– Лежите тихо, – бросила Марфа через плечо.

– Что же нам теперь делать? – спросил Олег, удивившись мимолетно спокойствию своего голоса.

– А мы уже ничего не можем сделать, – так же спокойно ответила Марфа. – Мы можем только молиться.

Целая буря чувств взвилась в душе Олега. Здесь был и протест, и сомнение, и негодование, но фраза «ничего не можем сделать» не испугала, а смутила его: ведь за ней следовало продолжение, и в этом никак нельзя было разобраться. Для него, Олега, за такой фразой всегда шла несомненная точка, а для Марфы – нет. Но сейчас их судьбы настолько слились, что выходило – раз для нее после «ничего» есть еще «нечто», то это «нечто» он обязан разделить с ней тоже.

Ему было совершенно ясно, что оба они обречены – но сердце, встрепенувшись, подсказало иное. И, вместо того, чтобы крикнуть: «Сама молись, а я буду петь «Интернационал»!» (он где-то читал, что кто-то так крикнул) он пролепетал беспомощно:

– Н.. не умею...

– Не беда, – Марфа метнулась к полке с иконами и, не успев Олег опомниться, как уже неловко держал в руках одну из двух больших; вторую взяла Марфа.

–левой держи... Крепче... вот так... – наставляла она скороговоркой. – Креститься умеешь? Дай руку... Три пальца сюда... На меня смотри. Так делай. Развернись к двери...

Теперь они стояли плечом к плечу лицом ко входу, каждый держа в руках по иконе. Собачий лай заполнял все вокруг, казалось, ничего, кроме этого лая уже не осталось в мире, но вдруг справа от Олега раздался чистый и ясный голос Марфы:

– Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его...

– Да воскреснет... – содрогаясь от вновь нахлынувшего страха, повторял за ней Олег, – и расточатся...

Ровно ничего не понимал он из того, что говорит, не раздумывал над тем, зачем он это делает и лезет ли это в какие-то рамки, верней, чувствовал, что сам он вылез из давивших рамок и теперь ни за что не отвечает, знает только, что совершаемое – безусловно необходимо.

Лай, топот, громкая немецкая речь и поганый заискивающий русский голос («Я же говорил вам, господин офицер») – смешавшись, все это возникло на лужайке перед домом.

В этот миг в самом потаенном уголке подвала памяти Олега словно открылась неведомая доселе дверь, и оттуда хлынул яркий свет. В свете он ясно увидел комнату, кресло-качалку, а в нем – худую старуху, укутанную пледом. Старуха мелко крестилась, глядя вверх, где было еще светлей, и бормотала...

– Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного!!! – громко выкрикнул Олег, и все вокруг расколдовалось: он не слышал более ни лая, ни голосов, только видел рядом Марфу, шепчущую те же слова и, вопреки всему, знал, что вот теперь – хорошо, вот теперь – понятно, и ничего больше не надо...

Часть 2
Валерия

– А ну-ка, актриска, подбери ноги!

Лёра стиснула зубы. В самый раз бы сейчас ледяным тоном ответить: «В русском языке такого слова нет. Есть «актриса» или, в крайнем случае, «артистка». Поэтому попрошу вас выражаться правильно».

Но ущемленное положение не позволяло этого сделать: обиженный Толик, и так все время злобно на нее косившийся, мог бы запросто вскипеть и попросить ее выметаться – да какое выметаться! – просто вышвырнуть ее из машины. И ей пришлось бы унижаться, извиняясь и умоляя взять ее обратно. А унижений с Толиком этим Лёре на сегодня уже хватило: и вспоминать противно, как хам ломался, а она все просила и, когда уж в третий раз, вроде бы, договаривались, вдруг с откровенной наглостью взглядывал на Лёру в упор и непередаваемо цинично ухмылялся:

– Н-не... Вот еще полтинник накинешь – и возьму. А так не возьму, не-е – нипочем...

Полтинников в результате вышло три, и перспектива расстаться с четвертым совсем не улыбалась Лёре. Поэтому она покорно проглотила пилюлю и подобралась на сиденье. Тотчас ей прямо на сапоги брякнулся огромный мешок. Стало очевидно, что двести шестьдесят или более километров до Смоленска ей предстоит ехать с поджатыми ногами, причем изменять их положение будет невозможно: твердый мешок так велик, что поставить ноги наверх не получится. Она решила робко запротестовать:

– Послушайте, это ни на что не похоже... Нельзя ли в какое-то другое место его положить? Ведь я и пошевелиться так не могу...

Толик сплюнул:

– Ну и не шевелись, не на сцене, – и невозмутимо, не глядя более на Лёру, стал вразвалку огибать «уазик».

Лёра тоскливо оглянулась. Две другие пассажирки уже сидели на своих местах позади, перед ними на полу тоже валялась какая-то кладь, но место для ног все же оставалось. Едва ли теперь кто-то из них добровольно поменяется с Лерой местами. Но наказана она была вполне по заслугам: ведь первая залезла на место рядом с водителем, чтобы избежать близкого соседства с какой-либо из женщин. Они казались Лёре такими неприятными, что сидеть впереди даже с Толиком виделось более приемлемой перспективой... Вот и получай, что заслужила.

На глаза Лёре навернулись слезы, но она быстро напомнила себе свое жизненное правило: «Если положение ужасно, но изменить его ты не можешь, то реветь все равно бесполезно». Слезы наружу не вытекли.

«Уазик» пофырчал для затравки, Толик напутственно матюгнулся, и машина кое-как тронулась, по-утиному переваливаясь на глубоких скользких рытвинах.

Как можно дальше отодвинувшись от водителя и чувствуя, что ноги уже немеют, Лера раздраженно смотрела вперед. Ей было ненавистно сегодня абсолютно все окружающее и, прежде всего – она очень четко это понимала – собственная глупость и жадность, ставшая причиной сегодняшнего клокотавшего раздражения. Стыдно сказать, из-за чего всё это! Из-за зимнего пальто. Да, да, не было у Лёры зимнего пальто. А была тонкая кожаная куртка, которую она носила несъемно с сентября по май, в холода подшивая в нее облезлую подкладку из рыбьего меха. И носила так пять лет. К началу шестого собственное отражение в зеркале в этом наряде стало ей так отвратительно, что хоть плюнь. Эта куртка с рыбьим мехом и сейчас на ней – особо потертые места Лера замазала черными чернилами. А теперь вот (и мысль эта грела) будет настоящее пальто. Маня-портниха, по совместительству костюмер, Маня-Золотые-Ручки, обещала сшить ей пальто бесплатно: слишком уж много услуг успела оказать ей Лера. Бабушка подарила выдавшего вида песка, и Лера сама перекрасила его «в лису» пульверизатором для замши, так что теперь престарелый возраст животного ненаметанный глаз не определит.

Лера пошевелила ногами, пытаясь оттолкнуть куда-нибудь мешок. Но толкать было некуда, да и мешок был настолько тяжел, что не двигался.

«Терпеть, – страдальчески сказала себе Лера. – Терпеть четыре часа. Всего четыре часа».

Она попыталась развлечь себя мыслями о будущем пальто, о том, как через четыре часа она будет в Смоленске, а завтра утром – уже в Москве, и у нее окажется целый день до ночного поезда, чтобы купить себе материю, подкладку и ватин, а потом еще сходить в Третьяковку. У Лёры родилась еще одна контрабандная мысль, и эта мысль была ужасна: посетить Мавзолей, пока мумию где-нибудь не зарыли. Там, конечно, камеры везде понаставлены, но интересно все же – будет, ли ей в наше время что-нибудь за то, что она перед мумией сделает какую-нибудь гадость – плюнет, например. Нет, Лера этого не сделает. Она притворится перед собой, что не плюнула потому, что, если ее поймают и пришьют хулиганские побуждения, то она не успеет на поезд – а ей до зарезу нужно послезавтра утром быть в театре, в Петербурге...

Да, в театре. Потому что послезавтра выяснится, сыграет ли она свою Роль. Ту самую Роль, после которой артисту уже все равно, кого он будет играть до смерти – героя-любownika или «кушать подано». Ту Роль, которая бывает одна, как единственная симфония у Моцарта – Сороковая, как единственная картина у Леонардо – Джоконда, как единственная партия у Шалапина – Мефистофель, И Лёра получит свою Роль, потому что знает: она стала актрисой только для того, чтобы когда-нибудь ее сыграть... Все совершенно разрешится послезавтра, но Лёра чувствует – не будет иначе. Для того она сейчас и трясется с тремя сверхнеприятными людьми в «уазике» по ужасной дороге через смоленские леса. Все внутренности у нее подпрыгивают, ноги ломит и сводит под сиденьем. Вид, конечно, у Лёры сейчас жалкий, ничего не скажешь: шарф намотан так, что торчит один нос – и тот от холода красный: печка в машине то ли сломана, то ли ее и вовсе нет. Руки в перчатках коченеют, струйка пара толчками бьется из-под шарфа.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.